

Как пляшет огонек!
Сквозь запертые ставни
Осень рвется в дом.

Райдзан

1. ФЕЛИКС СОРОКИН

Пурга

В середине января, примерно в два часа пополудни, я сидел у окна и, вместо того чтобы заниматься сценарием, пил вино и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мелко, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы, и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев и щетинистые пятна и полосы кустарника на пустыре.

Москву заметало.

Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посередине шоссе буксовало такси, неосторожно попытавшееся здесь развернуться,

Авторы считают своим долгом предупредить читателя, что ни один из персонажей этого романа не существует (и никогда не существовал) в действительности. Поэтому возможные попытки угадать, кто здесь кто, не имеют никакого смысла. Точно так же вымышлены все упомянутые в этом романе учреждения, организации и заведения.

и я представлял себе, сколько их буксует сейчас по всему огромному городу — такси, автобусов, грузовиков и даже черных блестящих лимузинов на шипованных шинах.

Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках. О том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегоочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагрэбателей, а были дворники в фартуках, с метлами, с квадратными фанерными лопатами. В валенках. А снега на улицах, помнится, было не в пример меньше. Может быть, правда, стихии были тогда не те...

Еще думал я о том, что в последнее время то и дело случаются со мной какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия, словно тот, кому надлежит ведать моей судьбою, совсем одурел от скуки и принялся кудесить, но только дурак он, куда деваться? — и кудеса у него получаются дурацкие, такого свойства, что ни у кого, даже у самого шутника, никаких чувств не вызывают, кроме неловкости и стыда с поджиманием пальцев в ботинках.

И за всем этим не переставал я думать о том, что вот стоит рядом отодвинутая вправо моя пишущая машинка марки «Типпа» с заедающей от рождения буквой «э», и вставлена в нее незаконченная страница, и на странице читается:

«...Башни танков повернуты влево, они бьют из пушек по партизанским позициям, бьют методично, по очереди, чтобы не мешать друг другу пристреливаться. За башней переднего танка сидит на корточках Рудольф, командир танкистов, лейтенант СС. Он — мозг, дирижер этого оркестра смерти — жестами отдает команды идущим позади эсэсовским автоматчикам. Партизанские пули то и дело щелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах.

Отступ.

Передовой секрет партизан, крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан — старик и молодой — растерянно глядят на приближающиеся танки. Банг! Банг! Банг! — удары танковых пушек».

Мне пятьдесят шесть лет, но я никогда не был в партизанах, и под танковую атаку мне попасть тоже не довелось. А ведь, строго говоря, я должен был погибнуть на Курской дуге. Все наше училище погибло там, остались только: Рафка Резанов без обеих ног, Вася Кузнецов из пулеметного батальона и я, минометчик.

Нас с Кузнецовым за неделю до выпуска откомандировали в Куйбышев в ВИП. Видно, тот, кому надлежало ведать моей судьбой, был тогда еще полон энтузиазма по моему поводу, и ему хотелось посмотреть, что из меня может получиться. И получилось, что всю свою молодость я провел в армии и всегда считал своей обязанностью писать об армии, об офицерах, о танковых атаках, хотя с годами все чаще мне приходило в голову: именно потому, что жив я остался по совершенной случайности, мне-то как раз и не следовало бы обо всем этом писать.

Вот и об этом я подумал сейчас, глядя в окно на заметаемый Третий Рим, и я взял стакан и сделал хороший глоток. Около буксующего такси засело теперь еще две машины, и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами.

Я стал смотреть на полки с книгами. Боже мой, внезапно подумал я, ощутив холод в сердце, ведь это же, конечно, последняя моя библиотека! Больше библиотек у меня уже не будет. Поздно. Эта моя библиотека — пятая и теперь уже последняя. От первой осталась у меня только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической редкостью: П. В. Макаров. «Адъютант генерала Май-Маевского». По этой книге

недавно снят был телевизионный сериал «Адъютант Его превосходительства», картина неплохая и даже хорошая, только вот с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезней и основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно, значительным человеком, и приятно читать на обороте титульного листа дарственную надпись, сделанную химическим карандашом: «Дорогому товарищу А. Сорокину. Пусть эта книга послужит памятью о живой фигуре адъютанта ген. Май-Маевского зам. Командира Крымской Повстанческой. С искренним партизанским приветом П. В. Макаров. 6.IX 1927 года, г. Ленинград». Могу себе представить, как дорожил, наверное, этой книгой отец мой Александр Александрович Сорокин. Впрочем, ничего этого я не помню. И совершенно не помню, как книга ухитрилась уцелеть, когда дом наш в Ленинграде разбомбил и первая библиотека погибла вся.

От второй же библиотеки ничего не осталось вообще. Я собрал ее в Канске, где два года, до самого скандала со мной, преподавал на курсах. По обстоятельствам выезд мой из Канска был стремительным и управлялся свыше — решительно и непреклонно. Упаковать книги мы с Кларой тогда успели, и даже успели их отправить малой скоростью в Иркутск, но мы-то с Кларой в Иркутске пробыли всего два дня, а через неделю были уже в Корсакове, а еще через неделю уже плыли на тральщике в Петропавловск, так что вторая библиотека моя так меня и не нашла.

До сих пор жалко, сил нет. Там у меня были четыре томика «Гарзана» на английском, которые я купил во время отпуска в букинистическом, что на Литейном в Ленинграде; «Машина времени» и сборник рассказов Уэллса из приложения ко «Всемирному следопыту» с иллюстрациями Фитингофа; переплетенный комплект «Вокруг света» за 1927

год... Я страстно любил тогда чтение такого рода. А было еще во второй моей библиотеке несколько книг с совершенно особенной судьбой.

В пятьдесят втором году по Вооруженным Силам вышел приказ списать и уничтожить всю печатную продукцию идеологически вредного содержания. А в книгохранилище наших курсов свалена была трофейная библиотека, принадлежавшая, видимо, какому-то придворному маньчжоугоского императора Пу И. И, конечно же, ни у кого не было ни желания, ни возможности разобраться, где среди тысяч томов на японском, китайском, корейском, английском и немецком языках, где в этой уже приплесневевшей груде агнцы, а где козлища, и приказано было списать ее целиком.

...Был разгар лета, и жара стояла, и корчились переплеты в жарких черно-красных кучах, и чумазы, как черти в аду, курсанты суетились, и летали над всем расположением невесомые клочья пепла, а по ночам, невзирая на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, пробирались к заготовленным на завтра штабелям, хищно бросались, хватали, что попадало под руку, и уносили домой. Мне досталась превосходная «История Японии» на английском языке, «История сыска в эпоху Мэйдзи»... а-а, все равно: ни тогда, ни потом не было у меня времени все это толком прочитать.

Третью библиотеку я отдал Паранайскому дому культуры, когда в пятьдесят пятом году возвращался с Камчатки на материк.

И как это я тогда решился подать рапорт об увольнении? Ведь я был никто тогда, ничего решительно не умел, ничему не был обучен для гражданской жизни, с капризной женой и золотушной Катькой на шее... Нет, никогда бы я не рискнул, если бы хоть что-нибудь светило мне в армии. Но ничего не светило мне в армии, а ведь был я тогда молодой,

честолюбивый, страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком, все в той же дивизии.

Странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности если писать в такой мужественной современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем очень нравится. Например:

«На палубе “Коньэй-мару” было скользко, и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой...»

(Тут ценно как можно чаще повторять «были», «был», «было». Стекла были разбиты, морда была перекошена...)

«Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. “Сэнтё, выходи”, — строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложил руки перед грудью и поклонился. “Спроси его, знает ли он, что забрался в наши воды”, — приказал майор. Я спросил. Шкипер ответил, что не знает. “Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен”, — приказал майор».

(Это тоже ценно: приказал, приказал, приказал...)

«Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. “Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду”, — приказал майор. Я перевел. Шкипер часто закивал, а может быть, у него затряслась голова. Он снова сложил ладони перед грудью и загово-

рил быстро и неразборчиво. “Что он говорит?” — спросил майор. Насколько я понял, шкипер просил отпустить шхуну. Он говорил, что они не могут вернуться домой без рыбы, что все они умрут с голоду. Он говорил на каком-то диалекте, вместо “ки” говорил “кси”, вместо “цу” говорил “ту”, понять его было очень трудно...»

Иногда мне кажется, что такое я мог бы писать километрами. Но скорее всего, это не так. На километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен.

Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутикана и «Человек-тень» Эдогавы. Вот они стоят рядышком, Паранайскому дому культуры они были ни к чему. «Человек-тень» — первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравится мне Хираи Таро, недаром он взял такой псевдоним: Эдогава Рампо — Эдгар Аллан По.

А четвертая библиотека осталась у Клары. И господь с ними обеими. Зря, ох зря заезжаю я сейчас в эту область. Сколько раз давал я зарок даже мысленно не относиться к тем, кто полагает себя мною униженными и оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен, не исполнил обещанного, подвел кого-то, разрушил чьи-то планы... и уж не потому ли, что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено?

И стоило мне вспомнить об этом моем неизбежном окаянстве, как тут же зазвонил телефон, и председатель наш Федор Михеич с легко различимым раздражением в голосе осведомился у меня, когда я наконец намерен съездить на Банную.

Что за разгильдяйство, Феликс Александрович, говорил он мне. В четвертый раз я тебе звоню, говорил он, а тебе все как об стену горох. Ведь не гоняют же тебя, бумагомараку, говорил он, на овощехранилище свеклу гнилую перебирать. Ученых, докторов наук гоняют, говорил он, а тебя всего-навсего-то просят,

что съездить на Банную, отвезти десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут. И не для развлечения это делается, говорил он мне, не по чьей-то глупой воле, сам же ты голосовал за то, чтобы помочь ученым, лингвистам этим, кибернетикам-математикам... не исполнил... подвел... разрушил... вообразил себя...

Что оставалось мне делать? Я снова пообещал, что съезжу, сегодня же съезжу, и с лязгом и дребезгом гневно-укоризненным швырнули трубку на том конце провода. А я торопливо вылил из бутылки остатки вина в стакан и выпил, чтобы успокоиться, подумав с отчаянной отчетливостью, что не вина этого паршивого надо было купить мне вчера, а коньяку. Или, еще лучше, пшеничной водки.

Дело же было в том, что еще прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить просьбу некоего Института лингвистических, кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в институт этот по нескольку страничек своих рукописей на предмет специальных изысканий, что-то там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии... Никто у нас этого толком не понял, кроме разве Гарика Аганяна, который, говорят, понял, но втолковать все равно никому из нас не сумел. Поняли мы только, что требуется этому институту как можно больше писателей, а все остальное было неважно: сколько страниц — неважно; какие именно страницы и чего — тоже неважно; требуется только сходить к ним на Банную в любой рабочий день, прием с девяти до пяти. Возражений ни у кого тогда не оказалось, многие, наоборот, были даже польщены поучаствовать в научно-техническом прогрессе, так что, по слухам, первое время на Банной были даже очереди и даже со скандалами. А потом все как-то сошло на нет, забылось как-то, и теперь вот бедняга Федор Михеевич раз в месяц, а то и чаще теревит

нас, нерадивых, срамит и поносит по телефону и при личных встречах.

Конечно, ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса, а с другой стороны — ну, люди ведь мы, человеки: то я оказываюсь на Банной и вспоминаю же, что надо бы зайти, но нет у меня с собой рукописи; то уже и рукопись, бывало, под мышкой, и направляюсь я именно на Банную, а оказываюсь странным каким-то образом не на Банной, а, наоборот, в Клубе. Я объясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно, по-моему, относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата, с необходимой серьезностью. Ну какая, в самом деле, может быть у нас на Москве-реке языковая энтропия? А главное, при чем здесь я?

Однако же податься некуда, и я принялся искать папку, в которую, помнится, сложил черновики на позапрошлой неделе. Нигде на поверхности папки не было, и тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на Банную из «Зарубежного инвалида», куда отправился с Кап-Капычем к Нос-Носычу ругаться из-за статьи. Но на обратном пути из «Инвалида» мы на Банную не попали, а попали мы все в ресторан «Псков». Так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было.

Но, слава богу, недостатка в черновиках я уже давно не испытываю. Кряхтя я поднялся с кресла, подошел к «стенке», к самой дальней секции, и кряхтя уселся рядом с нею прямо на пол. Ах, как много движений я могу теперь совершать только натужно кряхтя — как движений телесных, так и движений духовных.

(Кряхтя мы встаем ото сна. Кряхтя обновляем покровы. Кряхтя устремляемся мыслью. Кряхтя мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени.

Кряхтя. «Упанишады», кажется. А может быть, и не совсем «Упанишады». Или не «Упанишады» вовсе.)

Кряхтя я откинул створку цокольного шкафчика, и на колени мне повалились папки, общие тетради в разноцветных клеенчатых обложках, пожелтевшие, густо исписанные листочки, скрепленные ржавыми скрепками. Я взял первую попавшуюся папку — с обломанными от ветхости углами, с одной только грязной тесемкой, с многочисленными полустертыми надписями на обложке, из которых разобрать можно было лишь какой-то старинный телефон, шестизначный, с буквой, да еще строчку иероглифов зелеными чернилами: «Сэйнэн дзидай-но саку» — «Творения юношеских лет». В эту папку я не заглядывал лет пятнадцать. Здесь все было очень старое, времен Камчатки и даже раньше, времен Канска, Казани, ВИПа — выдирки из тетрадей в линейку, самодельные тетради, сшитые суровой ниткой, отдельные листки шершавой желтоватой бумаги, то ли оберточной, то ли просто дряхлой до невозможности, и все исписано от руки, ни единой строчки, ни единой буквы на машинке.

«Угрюмый негр вывез из кабинета кресло с человеческой развалиной. Шеф плотно закрыл за ним дверь...»

Какой негр? Что за развалина? Ничего не помню.

«— Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы? — спросил вдруг шеф.

— Китайцы? М-м-м... Кажется, были. Китайцы, или корейцы, или монголы. В общем, желтые...»

Да-да-да-да-да! Вспоминаю! Это был у меня такой политический памфлет... Нет. Ничего не помню.

«Крепость пала, но гарнизон победил».

Так.

«— Видю тя! Видю тя! — взревел Кроличьи Яйца, обнаружив видимого противника... И новый выстрел из тьмы наверху...»

А-а-а, это же я из Киплинга переводил, «Сталки и компания». Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Камчатка. Я сижу в штабе и перевожу Киплинга, потому что за отсутствием видимого противника переводчику делать больше нечего.

«Кроличьи Яйца» — «Rabbit's Eggs». И нечего тут скалить зубы, ребята. Если бы Киплинг имел в виду то же, что и вы, он бы написал «Rabbit's Balls». Да, помучился я, помнится, с этим переводом, но школа для меня получилась отменная, нет лучше школы для переводчика, нежели талантливое произведение, описывающее совершенно незнакомый мир, конкретно локализованный в пространстве и времени...

А вот и «Случай в карауле». Тоже пятьдесят третий год и тоже Камчатка.

«Позже Беркутов, часовой у входа в караульное помещение, никак не мог вспомнить, что впервые заставило его насторожиться и крепче сжать оружие, напряженно вслушиваясь в невнятные шорохи теплой июльской ночи. Просто к шелесту листвы, шуму собственных шагов, сонному скрипу ветвей примешалось...» — ну, и так далее. Коротко говоря, под покровом ночи подкрались к часовому, напали на него, и он, не в силах отбиться, вызвал огонь на себя.

Был я тогда по литературным воззрениям моим великим моралистом, причем не просто моралистом, но вдохновенным певцом воинского регламента. А потому, товарищи солдаты, главным в данном конкретном «Случае в карауле» было вот что:

«Как могло случиться, что Линько, так хорошо знавший уставы, допустил грубейшее нарушение уставов гарнизонной и караульной служб? А ты, Беркутов? Разве ты не оказался ротозеем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все — как мы не заметили, что Симакова не оказалось с нами, когда караул был поднят в ружье?»